

## ЛИЧНОСТЬ ТОЛСТОГО

Не о достоинстве художественных произведений Толстого буду я сейчас говорить и не излагать его моральные или общественные взгляды: но о его внутреннем существе, его личностном бытии, которым насквозь проникнуто все, что он писал и художественно и отвлеченно. Это и есть то, что врезалось в русскую и всемирную жизнь, своим умом, совестью, талантом, всколыхнуло всех, кто касался его, хотя бы мимоходом. Мы переживали ведь в дни предсмертной болезни Л. Толстого единственное в истории событие; под одной личностью жил весь мир. Но в эти дни только отчетливее выразилось то, что происходило в течение нескольких десятков лет: Толстой был самый известный человек во всем мире, наиболее широкого влияния из всех своих современников, как бы к нему, дружественно или враждебно ни относились. В эти дни все изумленно сознали этот факт, и очень многие из русских людей, утомленных и измученных тяжелыми обстоятельствами нашей общественной истории; с гордостью и чувством пробуждающейся веры в значение своей нации указывали на то, что это единственное влияние, единственное притяжение всего мира к одному лицу – было влияние и притяжение к себе русского человека.

Л. Толстой был, несомненно, ярко национальное явление и по свойствам своей личности и таланта и прежде всего по силе своей искренности. Эта сила и притянула к себе весь мир.

Толстой – общепризнанный гений. Споря с ним, никто не отрицает его гениальности. Он гениален не только как талант, но и как человек, как характер. Сначала, когда он явился с первыми своими юношескими повестями в журналах 50-х годов, его дружно приветствовали; потом, по мере того, как перед глазами русского общества вставали все ближе во весь свой рост его стихийно-неуравновешенный темперамент, причудливый характер и порывистый ум, его стремительная и неожиданная в своем течении идейность, его стали чуждаться, потом вновь были побеждены: 1) сперва широтой и силой его исторической и жанровой живописи, такой психологической и экспрессивной, сразу установившей за ним неоспоримое значение одного из величайших мировых художников, а 2) затем очень скоро, вслед за этим, буйной силой его самопокаяния и религиозной проповеди; влиянием этой проповеди отмечена целая эпоха нашего общественного развития, – 80-е годы. Наконец, с Толстым стали спорить, спорить во имя нового религиозного идеализма. Толстого чуждались, Толстым увлекались и слепо подчинялись, с Толстым спорили и будут спорить. Мы живем, скорей всего, в эпоху спора с Толстым, только утихнувшего над его неожиданной (?) могилой.

Склонный лично к спору с ним, я сейчас во всяком случае не буду спорить. Вглядимся в него, независимо от наших идейных сочувствий и не сочувствий в то вечное, что есть в нем, в его душу, которую он так мучительно и смело открывал всегда для всех, больше, чем кто-нибудь и когда-либо, и в художественных образах, и в отвлеченных рассуждениях, и в прямой исповеди. Смысл его признаний и рассуждений, и образов был всегда один и

тот же, Толстой всегда был до конца и во всем субъективен, он не только высказывал свое отношение к тому, что он изображал, казалось бы, объективно, но он говорил о себе, воплощал самого себя и, кажется, только самого себя.

История его творчества более чем какого-нибудь другого писателя, есть его исповедь, история его личной жизни.

Толстой и есть прежде всего эта гениальная сила искренности, искренности, в которой сильнее всего говорил реалистический инстинкт. Но как натура глубокая и не способная удовлетвориться только реальным, позитивным, он рвался к религиозному жизнеотношению. Принять религиозное отношение к жизни при его искренности, это значило для него найти в себе религиозный инстинкт, а не принять только религиозные идеи. Как ум до конца искренний он не успокоился до тех пор, пока не открыл в себе тех ощущений, которые обуславливали религиозное жизнеотношение. Это было острое ощущение нравственных начал жизни, которое жило в нем всегда, но было заглушено всю его жизнь другими голосами, вернее, одним другим голосом, но очень могучим, голосом жизни. Когда нравственный инстинкт превозмог в нем инстинкт страстей, тогда он назвал себя религиозным человеком. Пусть спорят с тем, что к ощущению нравственных начал жизни не сводится богоощущение, что оно шире и глубже. Толстой мог исповедовать только то, во что он действительно верил, что он реально ощущал. Он не мог принять для себя никакой фразы, тем более религиозной. Это не всегда могут сказать про себя его идеиные противники. Жизнью своей молодости он показал, что значит искренно и последовательно жить только инстинктами жизни. Глубоко неудовлетворенный этой жизнью на пути искания вселенского ее смысла, он тем самым показал, что этот смысл не только в инстинктах страстей. Как темперамент мятежный и кроткий, он перешел от чисто реалистического инстинкта к религиозному, мятежно, мученически, в слезах и в молитвах тому, в кого он, по собственным его словам, не верил, но молился, так как не мог не молиться. Об этом рассказано в Исповеди, самой страшной из книг Толстого, потому что в ней говорится, что пережито тем, кто жил напряженной страстью к жизни и неудовлетворенный ею, стал искать религиозного смысла ее, которого раньше не знал и без которого жить не мог. Это был страдальческий переход, потому что Толстой не мог лгать перед собой ни на минуту, ни в одной мелочи, не мог принять то в свое сознание, что реально не ощущал. И потому-то вера, к которой пришел Толстой, стала такой силой, что она была живым ощущением, а не выдумкой, не мечтой. Пусть спорят, что богоощущение Толстого ограничено и недостаточно, как всякая живая сила, она имеет свой живой самостоятельный смысл. Кто хочет бороться с этим, должен бороться такой же силой непосредственного ощущения. Но у современных противников Толстого, как бы правы объективно они не были, той силы религиозного инстинкта Толстого, которой он будет притягивать, пока ей не противопоставят живой силы иного содержания, но равного напряжения. Вдумаемся же в смысл той душевной борьбы, которую Толстой пережил.

Когда мы теперь думаем о нашем великом писателе, нам, конечно, представляется старческий облик умудренного опытом и понимающего человеческое сердце, человека-пророка, который проницательно и зорко охватил русскую жизнь во множестве ее проявлений, но не остановился на этом и обратился к ней с нравственным поучением, проникновенным больше всего чистотой и силой своей убежденности. И никто не помнит Толстого в ту эпоху, которую он считал для себя потерянным раем, потерянным и, наконец, возвращенным. Толстой в старости, как он сам говорит, сознаньем признал для себя правильным то, чем он был, по существу, в своей молодости. Недаром он начал свою литературную деятельность с изображения ранних возрастов человека и вовсе не из автобиографических целей, т<sup>ак</sup> к<sup>ак</sup> в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» вовсе не передаются факты его жизни, а в целях – изобразить привлекавшую его своей внутренней непосредственностью психологию молодости.

Толстой в психологии его молодости, в его первоначальных юношеских ощущениях – заслонен перед нами стариком-Толстым после долгой драмы совести пришедшем к оправданию непосредственного, которое он потом только углябил.

Толстой любит живую обыденную жизнь, он занят каждой его мелочью, каждой ее житейской и психологической подробностью, со всеми ее страстными и неразумными побуждениями, стремительными в своем весенним разливе – ребячески пугливыми перед страданиями и смертью, вот что мы узнаем о писателе из его художественных произведений, об этом же узнаем и из биографии писателя; но Толстой постоянно и *размышляет* над этой жизнью, нравственно оценивает ее, об этом мы узнаем также, как из его творчества, так и биографии.

Непосредственный голос жизни и нравственный суд идут параллельно один другому, как будто мешая друг другу развернуться полностью. Правда, в ранних размышлениях своих он *враждует* со всем тем, что противоречит жизненной непосредственности, но с течением лет он все более склоняется к разрыву с реальной жизнью, к отрицанию за ней правды, к признанию правды внежизненной, и, в конце концов, дойдя до крайнего отрицания жизни и не способный, по свойству своей природы, принять истину внежизненную, признает, что смысл жизни находится в ней самой.

Эта драма непосредственного жизнеощущения и острого сомнения в смысле реальной жизни во имя высшего т<sup>ак</sup> называемого нравственного начала – драма всей жизни Толстого, принявшая живые образы в его творчестве, поскольку творчество великого писателя, а тем более такого страстно искреннего, как Толстой, неотделимо от жизни его личности. На этой драме в настоящее время надо особенно вдумчиво остановиться, т<sup>ак</sup> к<sup>ак</sup> русское общественное сознание в последние дни стало откровенно имморальным, сознательно или бессознательно принимая и оправдывая самоценность страстей. Непосредственный инстинкт жизни и нравственное сознанье стоят друг перед другом как две стихии, обе страшной силы, обе космического значения и ведут спор. Что из них выдумка, что из них истина?

И как примирить их, если они обе жизненны? В этом споре прожил всю жизнь Толстой. Этот спор он переживал не в уме, не в мечте, а в самой жизни, чувственно-бурно и до конца искренно, это была та жгучая дума, которая его сжигала, может быть, в те успокоенные годы, когда он осел в идиллической обстановке Ясной Поляны, несмотря на его сумрачный вид, его седину и морщины. По крайней мере, неуравновешенный, мятежный стиль его старческих сочинений, это постоянное искание новых тем, выдавал какое-то вечное беспокойство, а не вполне достигнутый покой. Да, если Толстой был до конца искренен, если инстинкт жизни был в нем воистину стихиен, он не мог считать этот спор ни в себе, ни в мире порещенным. И вот последний акт его воли, совершенный им за несколько дней до смерти, перед которым все остановились в изумлении, как перед какой-то неожиданностью, внезапностью, был акт мятежной воли. Глубокий старик с ослабевшими телесными силами бежит из дома, из Яснополянской идиллии и этим навсегда сказал всему миру, что он был мятежник, что он не достиг покоя. Удивительным и для многих отталкивающим казалось многолетнее противоречие толстовской жизни его вере. В недоумении стояло русское общество перед этим противоречием, потому что не верило словам Толстого, что он смирился. Но смирения не было, он был и остался мятежным. С мятежа начал, мятежом заражал сердца и мятежом кончил. И смерть застала его в час бунта, а не смирения, чтобы подтвердить эту правду, чтобы оправдать его великую искренность. Он возмутился и ушел, не имея уже телесных сил выдержать этот последний душевный порыв. Изменило слабое, состарившееся тело великой неугомонной душе, которая не посчиталась с бессилием старческого тела. И теперь Толстой остался на вечные времена, как святой, как праведник, потому что он не изменил правде своей души.

Толстой в молодости, с привычной точки зрения на старческую успокоенность его природы, совсем не тот Толстой, каким мы привыкли понимать в последние годы его жизни. Об этом свидетельствуют факты его биографии, опубликованные в последнее время и им самим проверенные. И как подтверждают их портреты писателя в ту эпоху. На некоторых, особенно на очень ранних, – это лицо очень сильного внутренне, но и очень тяжелого, даже мрачного человека, притом человека страстей, неугомонного и мятежного в своих страстиах. И если взглянуться после этого в старческие портреты Толстого, то под морщинами и окладистой бородой, покрывшей все складки его лица и когда-то резко насмешливые губы, и особенно по пристальному взгляду его напряженных глаз, можно узнать юношу-Толстого со всей его неудержимой чувственностью и таким же неудержимым анализом.

В первоначальные годы своей жизни Толстой различает два момента, две эпохи. Первый – до наступления юности – эпоха непосредственной детской восприимчивости и ревности, отдавания себя всему, что сразу притягивает, без размышлений, без оценки. Второй, тот – который начинается пробуждением нравственного инстинкта и проникается этим новым инстинктом настолько же, насколько предшествующий инстинктом жизни, не уничтожая его. Жизнь не уступает своего места морали, но они с этого

момента идут в душе вместе. «С тех пор, – говорит Толстой, – началась юность».

Эта юность протекала бурно и беспорядочно. В ней не было ничего правильного и размеренного. Страстная во всех отношениях природа его, притом очень многосторонняя по своим влечениям, необузданная и безудержная, зовет переживать жизнь широко, без оглядки. Суровый голос морали врывается в эти нестройные голоса жизни и зовет к оглядке. Юноша не слышит его или только изредка. Всей интимной стороны переживаний Толстого, в которой, конечно, было много такого, что называется паденьями, мы не знаем, но знаем, что его юность была полна этим, и что дневник, где откровенно были записаны все эти молодые увлечения и неистовства, самоотверженно показанный уже позднее Толстым его будущей жене, едва не оборвал в ее душе чувства к жениху. Сюда входили, понятно, грубо и невоздержанные отношения к женщинам, и неумеренные попойки, и азартная карточная игра (едва ли не самая сильная страсть гениального юноши), и все это на фоне обычного внешнего, мелочного и тщеславного чувства жизни, слагавшегося в то мировоззрение, которое определилось понятием *comme il faut*.<sup>1</sup> Все эти увлечения и искушения не оставляют Толстого очень долго, во всяком случае, до женитьбы на той, в которой он нашел сдержанную его страсти силу самоотверженного женского обожания. Но до женитьбы, даже после того времени, когда будущий проповедник, казалось, жил одними общественными стремлениями, т. е. в эпоху его службы по крестьянским делам в 1861 г<sup><оду</sup> и одновременно с этим – занятий в Яснополянской школе, он, забыв все, играл на биллиарде, пока не проиграл такой большой суммы, что должен был выплачивать ее литературным трудом. Это была как раз повесть «Казаки», где писатель передает одно из самых своих чистых, но в то же время и совершенно стихийных увлечений простой казачкой, преклонение перед прелестью первобытного состояния, пантеистическое мировоззрение Ерошки – протест против европейской культуры, ее отвлеченного умствования и бегства от реальной жизни на высоты абстрактной мысли. Такой же тенденцией отмечены и некоторые другие произведения Толстого того времени, отражая его юношескую интуицию, которая уже предсказывала народническую идеологию, развитую в Яснополянском журнале. Но природа Толстого многостороння. В юношеских увлечениях его не только одни чувственные стимулы. Нравственный инстинкт, как сказано, врывается в эти увлечения, пока как чужой и докучный, но умственные интересы говорят в нем тоже очень властно, юноша жаждет и деятельности, но не знает, за что взяться, – до того он движется импульсивно, бессознательно. Живя в Казани, он решается поступить в Университет и готовится на восточный факультет, но недостаточно усердно, с жаром отдаваясь в то же время развлечениям и страсти, строго помянув, однако, идеал *comme il faut* (он был связан со средой, из которой он вышел), появляясь на всех казанских балах, много танцуя, несмотря на большую застенчивость (следствие большого

---

<sup>1</sup> Правильно (*франц.*)

самомнения) и недостаточную природную грацию. Вследствие этого он должен был держать переэкзаменовки. В течение зимы на первом курсе опять развлечения, шумная внешняя жизнь, мешающая занятиям. Его оставили на второй год, и он, не желая оставаться, перешел на другой факультет. И здесь он в первый раз заинтересовывается серьезно наукой и с любовью пишет большую работу по сравнительному праву, в то же время страстно нападая на оторванность и бесплодность для жизни университетского знания, и не выходя из потока светских удовольствий. Пренебрежительное отношение к Университету превозмогло в нем интерес к работе, и он вышел из него, не окончив курс. Он говорит, что Университет не удовлетворял его потребности знанья. Он смотрел шире и искал большего. Была и еще одна причина выхода. Студент рвался в свою тульскую деревню, оттуда его привезли в Казань, он хотел заняться сельским хозяйством столько же, сколько и работать над самообразованием. В это время, т. е. как раз в момент пробуждения сознанья, в нем произошло его отпадение от веры, догматической веры детских лет к такому же догматическому, мало коснувшемуся существа его души, банальному атеизму интеллигентного большинства, который, как указывает Толстой, именно не был прямым атеизмом, серьезным и мучительным отрицанием божества, а просто безразличным отношением к вопросам о сущности жизни. Ужас такого отношения, по глубокому определению Толстого, заключался в том, что оно соответствовало той жизни, которую он вел в течение многих лет, оно было как бы ее философией. Оно было так же бессознательно и так же искренно, как и детская вера: но той соответствовало наивное и чистое детство, – религиозному равнодушию беспорядочно страстная молодость. Жизненный инстинкт в эти годы говорил со стихийной силой, кричал громче всех голосов, пенил кровь и затуманивал совесть. В эти годы Толстой был человек жизни, человек страстей и изображал в своих сочинениях силу этих инстинктов. Великая стихия животной энергии била в нем через край, т<sup>ак</sup> как все, что заключалось в его природе, всегда было в кипении, всегда было безудержно порывисто и сильно, часто грубо, надменно, но всегда сильно. В нем говорила сама жизнь со всем ее чувственным горением и бурными противоречиями. А другая великая стихия – нравственная – пока робко уступала свое место первой.

Прожив после Казани лето в деревне, которое прошло в сельскохозяйственных увлечениях, Толстой приезжает в Петербург держать кандидатский экзамен с очень формальным отношением к делу – неподготовленный, готовился к экзаменам за несколько дней, просиживая ночи. Здесь он вдруг решает остаться навеки, уверяя, что Петербург на него хорошо действует своим рабочим настроением, потом, неожиданно, очень ненадолго остановившись на вопросе, не поступить ли на военную службу, бросает и экзамены, и мечты о военной службе, едет весной опять в деревню. Петербургская зима прошла в обычных развлечениях и увлечениях, в деревню он вернулся, наделав «пропасть долгов», соглашаясь с определением тетки, что он «самый пустяшный малый», хотя не без надежды на исправление. В деревню он привозит между прочим какого-то немца-музыканта,

пропивавшего свой талант, которым, однако, Толстой увлекся и отдается там под его влиянием новой страсти – музыке, тоже одной из самых сильных его страстей (впоследствии в момент крайнего отречения от жизни, он вступил и с ней в борьбу, как с искушением, в повести «Крейцерова соната»).

Здесь занятия и сельским хозяйством, музыкой и наукой прерываются то кутежами, карточной игрой, цыганами, охотой (тоже одна из сильных и непобедимых его страстей), то порывистым и таким же необузданым самоанализом и самопокаянием, которые делятся целые месяцы и потом вдруг уступают неистовым призывам страстей. Он пишет дневники, в которых называет свою жизнь беспутной, совершенно скотской, жалуется, что она опустошает его душу, его ум, разоряет его материально и в припадке покаяния составляет для памяти «список своих пороков» и правильное распределение дня. Напрасно. Три года он прожил в совершенном чаду. Он перешел тогда едва за 20-летний возраст. Конечно, он мечется. В сознании путаница. Только безудержно зовет голос жизни. Он живет то в Москве, то в Ясной Поляне. Между прочим, цель одного из приездов в Москву была тройная: 1) игра 2) женитьба 3) получение места. И не женившись, и не получив места, он в этот раз почувствовал отвращение и к игре, но ненадолго.

До какой степени прямо стихийно отдавался он потоку жизни, указывает одно из писем этого времени, где он говорит, что весной он обновляется душевно, так действует на него природа, а значит, опять отдается старой жизни и не имеет той власти над собой, какую имеет над ним природа.

Затем, совершенно запутавшись в денежных делах, он пользуется случаем уехать на Кавказ, где сначала принимает участие в военных действиях в качестве волонтера, а потом вступив армию, скоро попадает в Севастополь, в момент Крымской войны, со страстью отдаваясь зрелищу войны и военным инстинктам.

Кавказская природа могущественно подчиняет стихийную природу юноши. Буйная жизнь страстей продолжается, но они становятся, кажется, целомудреннее, и среди их разлива голос нравственного инстинкта раздается так слышно, что он говорит даже о религиозном сознании.

С природой Толстой чувствует себя всегда заодно. В природе он находит самого себя. Его неудержимый инстинкт жизни, не противореча смыслу природы, очищается в ней, освобождаясь от страстей. Он сливается с природой и смутно ощущает – не то в ней, не то в самом себе, слитым с нею, – Бога. Поэтому люди, близкие к природе, притягивают его неодолимо. Он записывает здесь в своем дневнике о загоравшихся в нем нежных, добрых и связанных с представлением о высшем смысле мира, чувствах, которые он сжигал в чувственной жизни города. Он молится Богу и ощущает к нему любовь, он читает молитвы, как в детстве, и становится чище сердцем. Но вот однажды в таком настроении он засыпает, – душевное напряжение прошло и опять в душе поднялись те же страстные инстинкты. Этой сменой двух инстинктов он и живет, и переживает ее с напряжением, с усилиями, наконец, с великой мукой, чем сильнее становится инстинкт моральный. Чрезвычайно знаменательно то положение, которое молодой писатель сразу занял при своем

появлении в Петербургских литературных кружках, после окончания войны, как известный уже автор «Детства» и «Отрочества» и Севастопольских очерков. Его талант признавали и перед ним преклонялись. Но он сам не мог слиться со своими сверстниками и поклонниками, людьми одинакового с ним общественного круга, образования и происхождения. Он сам рассказывает об этом, определяя ту общую точку зрения, на которой она тогда остановился, и ее различие от общепринятой в этом кругу: они исповедовали теорию прогресса, – указывает он, – а я не верил в прогресс. С этим неверием в прогресс Толстой совершил свое первое путешествие по Европе, только укрепившее в нем это органическое его предубеждение.

Что в культурном центре России Толстой мог найти только религию прогресса, это очевидно, т<sup>ак</sup> к<sup>ак</sup> религия прогресса есть действительно европейская популярная вера и до наших дней, но отсутствие веры в прогресс удивительна, и не потому, что это была новая и неожиданная мысль (*идея* эта была и не новая, и очень известная даже в русской литературе), но потому, что у Толстого это не могло быть *идеей*, он не способен был жить умственными построениями: отрицая прогресс, он отрицал его органически, в ощущении, и чувствовал себя сам в культурной обстановке чужим и недоумевающим, несмотря на долгое и верное служение кумиру *comme il faut*.

Он явился в русскую литературу живым отрицанием чувства исторической жизни: он знал и ощущал только природу вокруг и ее инстинкт в себе, который в нем боролся с другим, не содержащимся в окружающей природе, – нравственным.

Но осуществления этого инстинкта он не видел и в культуре.

Кроме природы, которая говорила с ним всеми своими явлениями и силами, он знал еще фатум, нравственный закон, смущавший его мучительно и властно, смущавший потому, что этот закон отрицал в нем его глубокий природный инстинкт непосредственной жизненности и страсти, отрицал его жизнь, и в то же время обаятельно манил к душевной чистоте, ясности и силе.

Конфликт непосредственного чувства жизни и абстрактного миропонимания был одним из основных вопросов нашей литературы; он сказывался и у Станкевича, и у Лермонтова, и у Белинского, и Герцена, об нем художественно говорил и Тургенев. Но Толстой был чужд увлечения абстракциями. В нем также заявляло о своих правах непосредственное чувство жизни. Но, во-первых, оно было так реалистично, как ни у одного из его предшественников, исключая Пушкина, во-вторых, оно боролось не с болезнями души, хотя бы и очень затяжными, как рассудочный идеализм, но с живой же силой, роковой неизбежностью, древней и вечной, как человечество, нравственным законом. Религия прогресса, с этой точки зрения, была для него мертвей. В этой религии под прогрессом разумеется совокупность поступательного движения человечества, как *целого* или в отдельных его *группах*. Тот роковой спор, который мучил Толстого, совершается *внутри нас*. Это задача личная: личного падения или личного возвышания, сумма которых дает нравственное состояние человечества. Поэтому Толстой может говорить только о прогрессе личном, а не о прогрессе общественном, и гораздо позже,

утверждая идею Царства Божия, идеальное состояние, как предельную цель человечества, проповедует путь личного нравственного самоусовершенствования и последовательно заключает, что это царство – внутри нас.

Вторичная поездка в Европу окончательно разочаровала его в теории прогресса. Вернувшись домой, он обращается к педагогической деятельности – на началах противоположных принятым в Европе.

Таким образом, практика Яснополянской школы была приложением определившейся у Толстого идеи, что мудрость не в культуре и не в культурных классах, раз их религия – мертвая и бессодержательная теория прогресса, а в потребностях нетронутой культурой народной среды. Статьи, напечатанные в журнале Ясная Поляна, давали идеиную формулировку этой практики и впервые идеологически выражали толстовское жизнеощущение. В эту идеологию нравственный инстинкт уже вошел как определяющая формула, но Толстой сам потом признавался, что действительной веры нравственную сущность жизни у него в эту эпоху еще не было: он только хотел верить, но не верил. Для человека не толстовской искренности такая вера была бы достаточной. Но Толстой не считал еще тогда, что он верит. И только страданиями мог прийти он и пришел, наконец, к полной вере в эту основу жизни, потому что слишком сильно говорил в нем другой инстинкт, совершенно отделенный в жизнеощущении Толстого от нравственного, а этот последний в то время все еще оставался для него только идеей, мечтой, а не живой реальностью, не мировой сущностью. Толстой остается еще в религии непосредственной жизни, которую он противопоставил религии прогресса, и Яснополянская школа служила также религии жизни. Поэтому-то, оставив, хотя и случайно, школьные занятия и обратившись к художественной работе, он воплотил в новых и самых гениальных образах, хотя ему пришлось создать сначала напряжение пламенного жизненного инстинкта, в конце концов покоряющего себе все проявления нравственного анализа, воплотил с такой поэтической любовью, которая еще ни разу не сказалась в его творчестве; а потом еще более пламенное напряжение того же инстинкта, которому теперь уже противопоставлена ужасная власть нравственной кары за служение ему. Идеализацию непосредственного чувства жизни, утверждающего в себе самом свой собственный смысл, мы находим нежнее и ярче всего в образе Наташи Ростовой, более бледно и прозрачно – в образе ее брата Николая. Перед нами проходят и два других героя поэмы: Андрей Болконский и Пьер Безухов, которые, в противоположность первым, размышляют над жизнью вообще, анализируют свою жизнь в ее непосредственных проявлениях, но один из них умирает, другой подчиняется духу Ростовых и сливается с ними. Дух Ростовых, простое чувство живой жизни, реальный инстинкт побеждает все мудрствования нравственного сознания; все душевные колебания Пьера разрешаются в радостном телесном ощущении ребенка, его и Наташиного, которого он держит на своей богатырской ладони.

Исторические движения, развертывающиеся в «Войне и мире», те движения, которые имеет в виду теория прогресса, ничто перед разумом

частной семейной жизни, жизни органической. Они смешны в сравнении с ней и не нужны. Но если определять и их существо, они вовсе не направляются разумной волей отдельных одаренных единиц по высшим целям, они фатальны и стихийны, как вся жизнь, и двигаются бессознательным разумом народных масс, тех масс, у которых Толстой хотел учиться больше, чем учить их сам, и в которых единственно он найдет скоро живое богоощущение, утраченное людьми европейской культуры.

В следующем романе «Анна Каренина» это сама чувственная душа Толстого, его страсть, инстинкт его плоти и крови, взятый в поэтизации аристократической обстановки и женской любви, со всей той инстинктивной внутренней борьбой, которую художник переживал сам. Каренина идет на голос страсти и влечет на этот голос, к себе и Вронского. Страсть владеет ими, но перед читателем все время неотступно стоит призрак совести, сторожащий двух преступников, преступных потому, что они шли на голос страсти, на голос жизни, не слыша другого голоса – нравственного закона, который и мстит за это служение страсти: как старый рок греческих трагедий он приводит преступницу к страшному самоубийству. А между тем Анна Каренина – тот же инстинкт жизни, как и поэтизированная Наташа Ростова, только в более остром напряжении страсти. Но нравственный инстинкт одерживал теперь в душе Толстого несомненную победу: очень скоро после «Анны Карениной», он и рассказал, с какой смертной мукой в нем, наконец, это совершилось.

Начинается последняя эпоха: Толстой уступает нравственному инстинкту, завладевшему, наконец, всем его существом. Но здесь-то и произошло самое замечательное и характерное для личности Толстого. Несмотря на всю смертную муку, которую ему пришлось пережить, он вступил с нравственным законом, второй могучей стихией мира, в переговоры. Если ты есть истина, сказал он ему, ты должен быть смыслом жизни, содержащимся в ней самой. Он не мог, стало быть, признать нравственного закона, отдельного от жизни, – так глубоко верил он в разум жизни. Сначала, как он сам исповедуется, он под влиянием окончательно завладевшей его душой новой стихии, отверг жизнь и ее значение, но потом понял, что, отвергнув ее, нужно отвергнуть ее не умом только, но органически, т. е. умереть, лишить себя жизни. Инстинкт жизни, разумеется, держал его, но выхода, казалось, не было. Тогда-то, оглянувшись на жизнь, во всем ходе ее с незапамятных времен до последней минуты, во всей сложности и множественности ее явлений, он сказал голосу нравственной стихии: раз жизнь есть, раз люди жили и живут, – в этом есть какой-то смысл. Какой же? Если ты, нравственное сознанье, есть, существуешь (а я знаю, что ты есть: я чувствую такую реальную власть твою над собой, что не могу жить от сознанья противоречия тебя и своей жизни!), если ты есть, и жизнь имеет какой-то смысл, ты и должен быть смыслом жизни, и вся мука моя в том, что моя жизнь противоречит тебе и все счастье людей в том, чтобы жизнь их была осуществлением тебя. Кто же так счастлив? Простой народ, воспитанный в

церкви, из которой он вынес учение о тебе и веру в тебя, как в должный и существующий смысл жизни.

Так связались в сознании Толстого инстинкт жизни и нравственный инстинкт, такой же, как по убеждению его, она уже есть у простых, неразвитых по-европейски, чуждых европейского прогресса, людей, которые верят в волю Божью, т. е. нравственный закон согласует с ней свою жизнь. Так и нужно жить, так и нужно делать, а европейский прогресс не нужен. Это и есть религия Толстого и его общественное мировоззрение. Анна Каренина бросилась под поезд, Толстой также ходил с мыслью о самоубийстве, но нашел выход, он не погиб, он спасся и стал учить других тому, в правду чего теперь свято и жизненно верил. Теперь он знал, чему учить, – он поверил в реальное существование нравственной стихии, как раньше верил в жизнь. Эта стихия оказалась самим внутренним содержанием жизни. Реальное жизнеощущение сменилось моральным богоощущением, поэтому жизнь страстей Толстого органически кончилась, как раньше органически не могла кончаться и продолжалась.

Вот душевная драма его и вот ее исход, душевная драма не одного Толстого, он пережил ее только с гениальной силой искренности и напряжения – в большом масштабе. Размер личности Толстого поистине огромный. Я лично – несогласный с Толстым в его религиозных идеях – не могу читать без волнения его статей по этим вопросам, такая в них внутренняя сила, и этой силой полно все, что он писал в области и художественной, и общественной. Его литературную манеру всегда хочется характеризовать словами «рубит», «выворачивает деревья с корнем», «ворочает камни». Его стиль, подобно его душе, резкий, тяжелый.

Найдутся некие, которые скажут – неприличный по своей грубоcти, но никто никогда не откажет Толстому в подлинной, гениальной силе, никто не назовет его бессильным.

Пройдут века, придут совсем будущие люди, и иными чувствами будут жить, чувствами толстовского жизнеощущения, его всегда будут называть великим за силу его душевного напряжения. Его и в далекие будущие века иных чувств, иной жизни, чем ныне, его, как Шекспира, будут называть великим и потому еще, что сила его душевного напряжения, страстного и морального по своей природе одновременно была направлена на проникновение в трагическую жизнь человеческих страстей. В этом смысле Толстой был трагик, как в древности Еврипид, в новой Европе Шекспир, и в России по силе трагического проникновения в жизнь человеческого сердца ему равен один Достоевский.

Это трагическое сердцеведение вытекало из сущности толстовской личности, в том понимании ее, как и дан в этом очерке. Содержание этой личности было именно трагическое и глубоко мятежное. Мятежный ум был неразделен в ней от мятежного сердца, т<sup>ак</sup> к<sup>ак</sup> у Толстого все, что было в уме, воплощалось и в сердце. Его неуклонный, неуступчивый, иногда совершенно аскетический морализм, которым иногда до конца проникался, было бунтом против людской жизни, основанной на страстиах, трагической

вине человеческих страданий и бедствий; его анархическая доктрина, помеченная в общих чертах еще в его юношеской идеализации первобытного состояния и в педагогических начинаниях, направленных против принципов европейского образования, была также бунтом против всей современной культуры, основанной на лжи и насилии, его антицерковное ученье, к которому он рано пришел, после кратковременного признания церкви как веры народной, было бунтом против доктрины, имевшей притязанье давать имя не имеющему имя и окружать культом того, кто, по его мысли, выше всякого культа. И если он умел любить, то он умел и ненавидеть, и можно сказать, что он столько же любил людей, сколько и ненавидел, и кротости всепрощения в нем не было.

Но мятежнее всего в нем была его искренность, которая была мятежна тем, что ни с чем не считалась, кроме правды своей души и той вселенской правды, в которую он на самом деле до конца поверил и слил с правдой своей души. В этой пламенной и суровой искренности и <нрзб.> основное свойство его гениальности, его он привлекал к себе и заставлял себя слушать даже тех, кому он был внутренне чужд.

И действительно: были внутренно сильные люди, кроме Толстого, были трагики, равные ему, но не было, кажется, людей такой искренности, как он, и я верю, что это основное и глубочайшее свойство его гения есть на самом деле свойство национальное, русское, и не случайно поэтому было, что единственное в истории событие, когда именно русский человек притянул к себе все сердца, весь мир, когда в минуту его смерти весь мир жил одним чувством – любовью к великому русскому человеку.